

Лариса КЕФФЕЛЬ-НАУМОВА

НИКА ИЗ ДНЕПРОПЕТРОВСКА

Вероника родилась в Днепропетровске, в интеллигентной еврейской семье. Мать — врач-уролог, отец — инженер-строитель. Она была некрасивым толстым ребёнком. Щекастым, с характерным носом. Девочка рано поняла, что это такое — быть некрасивой, но пока находилась в родственной среде, от этого не очень страдала. Её окружали души в ней не чаявшие родители, старшая сестра, бабушка, дедушка...

Когда Нике исполнилось десять лет, семья эмигрировала в Германию. Она помнит, как вместе ехали на поезде: родители отца — тихие, немного испуганные бабуля и дедуля — всю дорогу волновались и пили корвалол, а русская бабушка — мамина мать, которую спешно переделали из Клавдии Дмитриевны в Клару Давыдовну, — почему-то везла в купе мешок лука. Она до последнего не хотела уезжать. Когда родители пришли за бабушкой, ничего не было собрано, и тогда они стали метаться и хватать, что попадало под руку. Вот мешок и подвернулся.

Новая страна встретила неласково. Больше года они прожили в лагере, родители и девочки в одной комнате. Соседи, местечковые евреи, издевались: подворовывали из кухни продукты, устраивали чуть ли не ежедневные склоки и всевозможные мелкие пакости. Вымотанный отец в конце концов дал поляку, который подбирал квартиры для переселенцев, взятку. Его «трусило», когда он собирался на «термин» — разговор с чиновником в назначенное время. Шутка ли — дать взятку! Денег от продажи всего «нажитого непосильным трудом» было немного. Квартиры на Украине у них отобрали. Они думали, что дотянут, дождутся своей лагерной очереди на получение социальной квартиры, но другие, которые приехали позже них, почему-то уже отмечали новоселье, а их все мурыжили. В чём тут дело? Знакомые подсказали, что надо сделать, чтобы ускорить процесс. «А разве немцы берут?» Отец был обескуражен. «А что, они не люди? Берут, да ещё как! А уж поляки и подавно!» — засмеялся его советчик. Целых тысячу марок оторвали от сердца для такого дела. Успокаивали Алика (так звали отца) все: его старики, жена Лида и дочери Лена и Ника. Плакали, как в тюрьму. Тёща (Клавдия-Клара), не робкого десятка, дошедшая до Берлина и расписавшаяся на Рейхстаге, с которой, по её словам, танцевал вальс сам маршал Жуков, хмуро осадилась дочь: «Вы что, его на расстрел отправляете?» Зятя не любила. Не такого надо её Лиде. Вот она себе на фронте отхватила Лидино отца! Вот это был муж! Кавалер орденов. Полковник. Царствие ему небесное! А этот... Господи! Трясётся, как овечий хвост.

— Мама! Перестаньте! Кто знает?

Присели. Помолчали на дорожку. Родители поднялись. Партнёрша маршала по танцам обиженно ушла к себе.

— Эх, полком бы ей командовать! — съязвил отец, когда за бабушкой закрылась дверь. — Развернуться ей негде.

— Прекрати, Алик! Это моя мама!

Девочки наблюдали перепалку. Русскую бабку терпеть не могли, но молчали. Властная, бесподходная — она то и дело обижала и оскорбляла отца и их. Только маму ценила. Дочь у неё — доктор наук! Не зря в детстве на горох ставила за каждую четвёрку. Её порода! Генерала ей надо! Неприязненно взглянула на зятя. Только весь вид Лиде портит.

Отец тяжело поднялся. Надо идти. Больше терпеть было нельзя. Жена ревела ночами, уткнувшись в подушку, боялись лишний раз выйти на кухню и в туалет.

Отец вошёл, поздоровался по-немецки, поляк кивком указал на стул. Сел. Помылся.

— Вы хотели со мной поговорить?

— Господин Карпински! Соседи опять безобразничают, — отец расстроено про-

должал: — Вчера бросили наши полотенца, залили водой и порошком.

— Ну, вот видите! Они вам уже и бельё замачивают! — засмеялся чиновник.

В другой комнате, с открытыми настежь дверями, копошилась вторая сотрудница. Они присматривали друг за другом. Отец с грустью подумал, что друг за другом они тут и в войну присматривали. Заложить ближнего было делом правым и государственным. И теперь ничего не изменилось. Отец вытащил заготовленную бумажку, где он старательно вывел от руки на немецком: «Я заплачу 1000 марок за вашу помощь в поиске квартиры». Показал. Поляк опасливо покосился на сотрудницу, рьяно бухающую актами по столу. Кивнул. Отец убрал бумажку в карман. Если бы возникла опасность, то и съел бы! Невелика беда.

Оказавшись наконец на улице, постоял немного, чтобы прийти в себя. Порыв ветра толкнул его в спину, и он, качнувшись вперёд, потерял равновесие и чуть не упал от неожиданности, а потом, подгоняемый яростью разошедшегося ненастья, спотыкаясь, почти побежал прочь от этой серой, как тюрьма, безвкусной громады, наполняясь бездумной, пьяной радостью облегчения, повинувшись только одному подсознательному желанию — бежать... Бежать отсюда, захлёбываясь холодными брызгами обрушившегося с небес, как добрый знак, ливня, не чувствуя под собой ног и замерзая на ходу. Он всё понял. У него получилось. Поляк согласен. Этот ад скоро кончится. Войдя в автобус, с испугом покосился на водителя. Тот с ответной опаской взглянул на него, незаметно отстраняясь. Посчитал деньги. Протянул билет.

— С вами всё в порядке?

— Да, да. Спасибо. Всё нормально.

«Я, наверное, похож на сумасшедшего, — подумал Алик. — Почему я боюсь, я же заплатил? Почему я всё время всего боюсь в этой стране?»

В автобусе было жарко. Провёл рукой по лбу, чтобы опомниться. Пот струйками стекал из-под кепки, заливал и так мокрое от дождя лицо, глаза. Алик порывлся в кармане пахнущего влажным драпом пальто. Нащупал мятый комок бумажного платка. Вытерся, косясь на водителя. В зеркальце видел внимательно следящие за ним глаза. В них читалось что-то недоброе, настороженное. Мол, бродяги эти, не знаешь, чего от них ждать. Остановка была около социального ведомства, всякое, видно, случалось. Алик понимал водителя. Ему хотелось подойти, успокоить. Сказать: «Послушай, приятель! Я не то, что ты думаешь! Я нормальный человек. Я инженер. Просто... Мне сегодня повезло. У меня скоро будет дом». Но с немцами так говорить невозможно. Он отвернулся, стал смотреть на косую сетку дождя за окном. Автобус огибал квадраты рыжих осенних полей. Лагерь находился вне черты города. Алик сошёл, чувствуя спиной этот недобрый взгляд водителя, поднял воротник пальто, защищаясь от задувающего в нутро ветра, и быстро зашагал, отворачиваясь, закрываясь воротником, к массиву серых, барачного вида строений, так нескладно смотревшихся в пустоте убранных полей. «Только что колючей проволоки нет. Вот и вся разница», — подумал он.

«Почему немецкая архитектура так безрадостно функциональна? Так убийственно бесчеловечна?» — размышлял он. Когда они были студентами, то чертили дворцы, радостно пронзающие облака, уходящие в бесконечность неба... Казалось, ещё чуть-чуть, и они преодолеют земное тяготение и улетят в неведомые пространства космоса, как наши ракеты. Правда, теперь это уже были не его ракеты.

Через неделю они получили квартиру и спешно переехали. Спать было не на чем. Ходили и собирали ночью мебель, ту, что выносили на выброс. Однажды осторожно спросили соседей из своего двора, которые выставили хорошие ещё шкаф и диван, можно ли их взять? Хозяин мебели, красномордый, белобрысый немец в годах, брезгливо взглянул на них и, ничего не говоря, вытащил перочинный нож и исполосовал и шкаф, и диван. Они стояли и растерянно наблюдали, как из сиденья дивана вылезла белая синтепоновая набивка и заключительным аккордом, погребально дрынкнув, выскочила пружина. Но всё равно после лагеря жизнь в отдельной квартире, хоть и на полу, казалась счастьем. Причём поляк-взяточник, как ни странно, оказался не халупгой. У него, как видно, был свой кодекс чести, а может, сумма оказалась слишком большой, но он, к удивлению отца, выписал документы и на вторую квартиру — старшей сестре Елене, которой уже исполнилось восемнадцать лет. На робкий вопрос отца, сколько ещё он должен, отрицательно покачал головой:

— Всё нормально. Это вместе.

Вероника пошла в немецкую школу, около дома. Язык они к тому времени уже прилично знали. В лагере у всех было полно свободного времени. И девчонки, не вылезая из комнаты, усердно зубрили грамматику, в то время как другие «русские» переселенцы, «аусзидлеры», женихались на «завалинке» в углу спортплощадки, часто пропуская занятия по «родному» немецкому языку.

Отец купил телевизор. Включили. Позвали мальчика Моню из соседнего барака. Тот фурычил в телевизорах. Настроили. Показывали какой-то фильм. Немцы что-то

быстро говорили на своём гортанном тарабарском, отрывисто и сложнопроизносимо. Казалось, что повторить это нельзя! Слова были как «собака-паровоз» — так в детстве Ника называла соседскую таксу, — длинные, кандибобером... Как можно его выучить? Девочки плохо понимали. По телевизору шли только немецкие программы. Отец сказал: «Учите немецкий. Русского больше не будет».

В школе немецкие дети подтрунивали над Никиной полнотой и еврейским носом. К ужасу матери, Ника отказывалась от еды, почти всё оставалось на тарелке. Она не вылезала из фитнес-центра и худела на глазах. Ника была маленькой: метр пятьдесят шесть. Не фотомодель, конечно... Но диеты и спорт дали свои плоды. К семнадцати годам она стала очень худой. Оценивая себя по всем параметрам, артистично меняла позы перед зеркалом. «Пожалуй, попробую играть француженку. А что? Вон даже скулы и волосы, как у Мирей Матье!» — резюмировала она, втянув щеки.

Взяла себе манеру говорить тягучим голосом, трогая собеседника за руку, заглядывая пытливо и несколько бесстыдно в глаза. Стриглась в модном салоне. Накупила дорогой косметики и пошла на курсы макияжа. Сожгла все свои детские фотографии, с которых улыбалась заячьими зубами толстая девочка. На зубы одели брекеты. Завела подружек, которые хотели того же — сделать карьеру в немецкой среде, чего бы это ни стоило. А что такое карьера для женщины? Ну конечно! Это удачное замужество!

Немцы осторожничали. Сколько Вероника ни билась — стоящего перспективного немца на горизонте не появлялось. Она была в том возрасте, когда а серьёзном, взрослому думать ещё рано, а детство как-то вдруг, в один совсем не прекрасный день, закончилось. Запросы требовали затрат. Ника стала покупать себе вещи в бутиках, чтобы соответствовать кругу модных одноклассниц, летала на каникулы на самолёте в Берлин с подружками, у которых родители были посостоятельней. Когда её достало, что живущие на полусоциале родители, еле сводя концы с концами, начали возмущаться и пытались ограничить её, она пожаловалась на них в опеку. Подружки надоумили. Опека дала Нике психолога. Длинная баба с лошадиной челюстью и причёской а-ля Фима Собак из «Двенадцати стульев», выслушав Никины жалобы, мстительно обнажила жёлтые длинные зубы в саркастической усмешке и пролаяла прокуренным голосом: «Николь, успокойся. Клади им чеки на стол. Если они откажутся платить, мы лишим их родительских прав». Ювенальная юстиция в действии. Родители в ужасе покорились.

Мать переквалифицировалась в психиатра и пошла работать в психбольницу. Работа была по сменам, с ночными дежурствами: нервная, но хорошо оплачиваемая. Медперсонал — одни переселенцы: сербы, поляки, болгары, турки, иранцы... Отец, намывавшись по стройкам прорабом, подтвердил свой диплом и наконец открыл свою фирму. Жизнь, как говорится, налаживалась.

Ника пошла учиться на физиотерапевта по примеру старшей сестры Елены. Она всегда всё передирала у неё. Только за Елену, с её слабым зрением, заплатило государство, а за Нику — родители. Ника действовала по принципу: «Цель видишь? Вижу! Верюшь в себя? Верю!»

В Германию на лето приезжали группы белорусских детей, которых накрыло чернобыльским облаком. Тем немцам, которые помогали «радиоактивным» детям, снижали налоги — поэтому некоторые брали детей учиться в Германию. Альтруизм — это совсем не немецкое слово.

С группой, к которой прикрепили Елену как переводчика и гида, приехал парень, вожатый. Красавец. Умница. Студент физмата Минского университета. Делоновский тип. С каким-то холодноватым, смотрящим сквозь тебя взглядом. Елена, как и Ника, была небольшого роста. Полноватая, некрасивая — но, как про таких говорят, «еврейская голова». Влюбилась сестра в него без памяти, ходила просто сама не своя, похорошела даже. К тому же, будучи совсем не душой, она понимала, что сам он на неё не обратит внимания. Тут надо что-то предпринять. Откуда-то вытащила ему, как фокусник из шляпы, богатых немцев-поручителей, чтобы оставить его в Германии учиться — только бы он был рядом. Ей, наверное, уже виделось, как они встречаются, влюбляются, играют свадьбу...

А Ника его отбила. Это оказалось совсем не сложно. А что? Просто смотреть, как «умненькой сестрице» достаётся лакомый кусочек?! Да, положи руку на сердце, он ей был не особо нужен: скорее, такой «спортивный интерес»!.. Насолить сестрёнке. Хотя бы в этом она будет удачливее.

Зачем отбила, зачем рассорилась на всю жизнь с сестрой? Ника и сама толком не понимала. В ней рано проснулась чувственность, прямо какая-то ненасытность. Она всё время хотела себе доказывать, что она — лучшая! На всех курсах и тренингах она пытливо и жадно постигала искусство притягивать к себе внимание ухажёров, а затем

— и складывать их в штабеля... Потребовала от родителей, чтобы те сняли ей квартиру (училась она в то время на физиотерапевта в Хайдельберге).

Перевезла из дома старинное пианино, приобретённое отцом у одной интеллигентной старой грузинки — учительницы музыки: «Пусть девочки учатся». Чарита Фарнаузовна занималась с Никой музыкой ещё в лагере, а потом, когда они оказались соседями в одном социальном доме, продолжила давать ей уроки. Проверили — у Лены совсем не было слуха. У Ники — абсолютный. Грузинская учительница оказалась примечательной личностью и, как магнитом, притягивала девочку. Она как будто сошла с полотен Ренуара, совсем из другой жизни. Ника, сама того не замечая, копировала её манеру держать спину, гордо, аристократично нести себя, чуть приподняв подбородок. Во всём её облике было что-то царственное, чувствовалась порода, класс. Ника заметила, что Чарита Фарнаузовна никогда не садилась за пианино в халате или с неприбранной головой, в тапках. Да и вообще она редко видела её в этих принадлежностях домашнего обихода, разве что когда заходила к ней неожиданно, совсем рано утром. А у них в семье мать с бабушкой ходили в мерзких цветастых халатах. Музыкантша была всегда тщательно одета и причёсана волосок к волоску. Строгое платье, чулки и туфельки на небольшом каблучке, чтобы удобно было нажимать педали. Это была её дань уважения музыке, искусству, которому она служила всю жизнь.

У Чары, так они её звали за глаза, никого в живых из родственников не осталось. «Все уже умерли», — говорила она, легко взмахивая, как бы дирижируя, ручкой. При Сталине одного за другим расстреляли всех её родственников — профессоров консерватории, преподавателей университета.

— Ну какие они шпионы? — вопрошала она, смотря возмущённо на Никиных родителей, как будто это они обвиняли несчастных членов её семьи в шпионаже в пользу иностранных держав. Передёргивала удивлённо плечами, прихлёбывая из чашки и качая головой.

Необыкновенно интересно рассказывала о том, как отец принимал в Тбилиси Мандельштама. Её речь с чуть заметным акцентом отличалась удивительной правильностью, метафоричной образностью, какой-то особенной грузинской аристократичностью, необыкновенно обширным словарным запасом. Ника могла слушать её до бесконечности! Рассказчицей она была дивной. В воображении Ники предстала далёкий и загадочный Тбилиси, Кура, несущая свои беспокойные воды мимо храма Метехи, Авлабари, старые тифлиские дворики, виноградники. Она слушала Чариту, и оживали стоявшие за ней тени древних предков, тысячелетняя культура гордой Грузии. Чарита часто вспоминала своё детство, как девчонкой бегала в консерваторию, где преподавали знакомые и родственники. Перед Никой, словно киноплёнка, прокручивалась жизнь семьи тбилисской элиты, в которой росла юная пианистка. Повсюду царила атмосфера искусства: поэзия, музыка, живопись, друзья, друзья друзей — семьи Бараташвили, Табидзе, Марджанишвили, Анджапаридзе. Знала она и Параджанова, и многих, о ком Ника читала или только слышала.

— А Пиросмани был совершенно сумасшедшим. Какой-то лубок! — Ника пыталась рассуждать, как искушённый знаток искусства.

— Замолчи, если ничего не смыслишь! — Чарита произнесла свой приговор тихо, но в голосе звучало едва прочитывающееся, досадливое разочарование в своей ученице, так что Ника навсегда запомнила интонацию внутреннего превосходства, идущего от настоящего знания, и с тех пор больше не пыталась «включать» искусствоведа. — Он был гений, и не тебе, мягко говоря, маленькой несведущей дурочке, судить о нём! Кстати, его, как и тебя, звали «НикО». И его рукой водил Господь, — она помолчала. — Он умер от голода, — с печалью в голосе добавила учительница. Нику почему-то поразило именно это обстоятельство в биографии бедного Пиросмани. Она неожиданно для самой себя захлопала носом. — Не хлюпай! Вытри нос и не заговаривай мне зубы! — Чарита рассерженно подышала на свои вечно замерзающие руки. — Ещё раз со второй цифры, и считай! И... раз, и два, и...

А как она декламировала отрывки из грузинского эпоса — «Витязь в Тигровой шкуре» Руставели!

*Воспоём Тамар-царицу, почитаемую свято!
Дивно сложенные гимны посвящал я ей когда-то.
Мне пером была тростинка, тушью — озеро агата.
Кто внимал моим твореньям, был сражён клинком булата.*

*Мне приказано царицу славословить новым словом,
Описать ресницы, очи на лице агатобровом,
Перлы уст её румяных под рубиновым покровом, —
Даже камень разбивают мягким молотом свинцовым!*

На грузинском тоже читала, было непонятно... Но так мелодично! Как заклинание...

Учительница несла в себе уходящую «старую школу», где слова «святое искусство» были не пустым звуком. Вероника уважала её и немножко побаивалась и, совершенно неожиданно для самой себя, даже любила, жалела это одинокое реликтовое деревце с прямой спиной, гладкими, строго убранными в низкий, на испанский манер, пучок волосами, с неизменной ниткой старинного жемчуга в строгом вырезе платья...

— Что ты поишь её чаем, она же деньги за занятия получает? — вздыхала мать.

— Вам что, печенья жалко? — огрызалась Ника.

Чара долго занималась с Никой, пока совсем не одряхлела, стала всё забывать, и её увезли в дом престарелых. Ника ездила иногда к ней, возила пирожные, шварцвальдский торт, который учительница так любила. Чарита Фарнаузовна радостно касалась Никиной руки своими чудесными, тонкими старческими пальчиками, как будто хотела на ней ещё сыграть что-нибудь в благодарность. Так же она когда-то поглаживала и «Блютнер»¹, прежде чем открыть крышку. Это был обязательный ритуал.

— Он живой, девочка, поверь мне! — взволнованно говорила, положив на пианино руку, проводила по блестящим чёрным бокам, похлопывала любовно по верху, пробегала трепетно по клавишам из слоновой кости. Это было почти эротично, как ласки с возлюбленным, когда не можешь от него оторваться и всё гладишь, прикасаешься к любимому телу. Заглядывала внутрь, проверяла: — Ты давно ставила воду? Не забывай, а то рассохнется. Я никогда не слышала звука лучше, чем у этого фортепиано. Даже у роялей, а я, уж поверь мне, на каких только не играла. Это — концертный вариант. Береги его, Никуша.

Чарита Фарнаузовна никогда не была замужем.

— Малхаз женился на другой, а у нас считается позором, если все знали, что ты любила одного, и позже выйти за другого.

— Ну он же женился? — возмущалась Ника. — Почему же вам было нельзя?

— Он мужчина, — с улыбкой качала головой Чарита. — Мужчинам всё можно.

— Я буду делать всегда, что я хочу, и никогда не позволю диктовать мне! — возмущённо пообещала Ника, показав кому-то сжатый кулачок.

— Не говори так! Женщина должна научиться подчиняться. И быть добродетельной, — Чара потянулась, погладила её по волосам. — Береги честь смолоду.

— Ну вот что это вам дало?

— Я могу прямо смотреть тем, кто меня знает, в глаза, — Чарита выпрямилась, нарочито строго посмотрела на девочку. Но в её взгляде промелькнуло какое-то смятение: не то горечь, не то слеза. «Похожа на побитую собаку», — подумала Ника.

— И я смогу прямо, — Ника засмеялась.

— Не морочь мне голову! — Чара пришла в себя. Она тонко чувствовала, когда разговор начинает переходить в недозволенное русло. — Ты, наверное, не повторила Щуровского² и поэтому рассуждаешь о равноправии?

Может, «Блютнер» и правда был единственным её возлюбленным, кому она оставалась верной всю жизнь.

Однажды учительница сказала Нике:

— Ты могла бы стать хорошей пианисткой. А может, даже виртуозом, если бы ты не была так нетерпелива и самонадеянна.

— А долго надо учиться, чтобы стать виртуозом? — спрашивала она свою обожаемую Чару в этом давнем диалоге. Было ей тогда лет двенадцать.

— О-о, долго... — ответила та, улыбаясь.

— Ну сколько, сколько? — не унималась Ника. Ей, маленькой, хотелось побыстрее стать виртуозом.

— Порой на это уходит вся жизнь.

— Как вся жизнь? Ну-у-у, так долго я не хочу! — её детский тон стал вмиг взрослым. — Всю жизнь долбить днями и ночами, добиться признания, чтобы потом — в лучшем случае — долбить, пусть и в лучшем месте после лучшего завтрака в лучших шмотках... Возможно, даже и на рояле лучшей, чем «Блютнер», марки...

Ника не закончила тираду, потому что Чарита гневно вскочила.

— Лучшей марки, чем «Блютнер», нет! — убеждённо воскликнула учительница, как будто оскорбили самое для неё святое. — Этим чудесным инструментом владели гении: Чайковский, Шостакович, Рахманинов, Брамс, Дебюсси... Эндрю Ллойд Уэб-

¹ «Блютнер» — марка фортепиано. Julius Blüethner Pianofortefabrik — одна из старейших семейных компаний по производству пианино и роялей, расположена в Гроссспёзне (Лейпциг, Германия). Основана в 1853 году Юлиусом Блютнером (1824-1910).

² Щуровский Юрий Сергеевич (1927-96) — советский и украинский композитор и педагог.

бер, наконец! Может это тебя убедит? — перечисляла Чара возмущенно великие имена.

— ...Чтобы не видеть света и остаться синим чулком?! — как бы не слыша аргументов преподавательницы, упрямо перекрикивала Ника.

Чара в ответ только с грустью посмотрела на свою ученицу. Ника опомнилась. Осеклась.

— Извините, Чарита Фарнаузовна! — молитвенно сложила Ника руки, обращаясь к помрачневшей учительнице музыки. — Ну, если Эндрю Ллойд Уэббер, сидя за «Блютнером», написал «Cats» и «Призрака оперы», тогда я пас. Тогда это лучшее подтверждение его уникальности! Он-то уж понимал в роялях! — восхищенно воскликнула Ника. — Беру свои слова назад.

— Ага! А Чайковский, значит, ни черта в этом не понимал! Так? Ясно! — Разъярённая учительница села, скрестила на груди руки и отвернулась к окну от скверной девчонки. Почему она её любит? У неё ведь не было собственных детей. У неё не было никого на всём белом свете — кроме этой дерзкой девчонки, и Ника знала это. — Никуша! Чтобы стать виртуозом, надо стать человеком, — через паузу, успокоившись, произнесла она.

— А я же уже человек! — удивилась Ника. О чём учительница говорит?

— Да, но надо вырастить в себе большого человека, личность. А остальное приложится, — Чара ласково посмотрела на неё, и Нике стало совестно под великодушным взглядом огромных, чуть навывкате, миндалевидных, чудесных грузинских глаз, с мелкими лучиками морщинок вокруг. Стало стыдно за свои резкие слова, которыми она ненароком обидела добрую одинокую женщину. Она порывисто обняла учительницу.

— Ну простите меня. Простите!

Помолчали.

— Большой человек... — произнесла Ника, всё ещё обнимая Чару и вдыхая аромат «Мицуко» от «Герлен», который источали её волосы и платье, парфюм, которому учительница была верна.

Она недоуменно размышляла об этом странном «большом человеке», «Блютнере» и мужчинах, которые прошли мимо, не увидели эту умную, чудесную женщину и не дали ей любви. Кто был этот бессовестный Малхаз, который обманул её и женился на другой? А вообще странно иногда говорит эта грузинская княжна. Но какая она милая... И незащищенная. И несчастная. Одинокая. Все эти малхазы мизинца её не стоят! Вот Ника вырастет и им всем покажет! Вот в чём она станет абсолютным виртуозом!

Ника осматривала свои будущие апартаменты. Надо бы сюда прикупить кровать побольше, двуспальную, с металлическими никелированными шишечками, и шелковое постельное бельё с леопардовыми принтами, разбросать много подушечек разной формы. На пол — ковёр с белоснежным мягким ворсом, чтобы утопала нога. Серебристые шлёпки на шпильке с пуховыми бантиками, перламутровый пеньюар с опушкой. Dessous. Сцена и реквизит для соблазнений готовы. «Прямо Снегурочка», — усмехнулась про себя Ника. Идеальная стратегия обольщения! Успех обеспечен. Ну кто, скажите на милость, устоит против такого?!

Голос отца оторвал её от сладких мечтаний:

— И что ты собираешься делать в этой квартире... одна?.. Ухажёров водить?!

Она резко выпалила вразрез, спохватившись:

— Папа! Мне уже скоро двадцатник! Может, и водить! Вообще-то секс — это как пить и есть.

— Только с одним! — попытался опшонировать отец. — Мы с твоей мамой...

— Да слышала, как там у вас с мамой. Ничего интересного!

— Ника, как ты можешь! — мать оторопело прижала руки к груди.

— Перестань хамить! — взвился отец.

— Ой, всё, успокойся, папочка, — Ника криво ухмылялась. — Радауйтесь: вы нашли друг друга. Это вас удачно познакомили, а то вам такое счастье не особо-то и светило!..

Несмотря на сарказм, Ника была настроена благодушно. Планировка квартиры ей нравилась. Надо брать.

— Это ещё почему? — не сдавался отец. — Твоя мать — вылитая Наталья Фатеева! И доктор наук, между прочим.

— Вот именно. Между прочим, — Ника деловито заглянула на кухню.

— Алик! Перестань! Ты что, не видишь, она же над нами издевается!

Отец обречённо вздохнул. «Эта вертихвостка от своего не отступит...» Квартиру сняли.

Ника поняла, что с немцами напряг. Надо искать своих. От очередного «друга» прослышала про еврейский летний лагерь, где отдыхает молодёжь. Рванула туда. Бо-

рис застучал её в постели с этим другом прямо в деле. Её будущий муж был дежурным в этот день и обходил палаты, проверяя, нет ли кого днём в помещении. Он остолбенел, когда увидел девчонку с парнем, занимающихся вовсю сексом.

— Что вы тут делаете?! Прекратите сейчас же!

В лагере от религиозной еврейской общины с нравами было строго: девушки отдельно, парни отдельно... Вероника высунулась из-под одеяла и недовольно огрызнулась.

— Тебе какое дело? Сам не видишь — что? — девица вела себя нагло и абсолютно спокойно.

— Сейчас же перестаньте! Я старшего позову!

— Вот козёл! Весь кайф испортил! — Ника лениво потянулась, встала и, абсолютно голая, медленно, несколько не стесняясь, стала натягивать на себя джинсы. Потом она вызнала про него у подруги.

— Так. Инженер в фирме «Глобал», — докладывала подруга. — Очень перспективный. Закончил инженерный факультет в Карлсруэ, потом американский какой-то университет, а потом — Сорбонну, представляешь?! — захлёбывался подружкин голос по телефону. — Это же находка! Золотая рыбка! Никуша! Они там разрабатывают какую-то машину, которая ездит без водителя, и ещё кучу всего, я не поняла. Всякие проекты будущего. Нанутехнику, вот! — вспомнила радостно подруга.

— Нано, — задумчиво поправила Ника. Где-то слышала уже. Так... Надо брать.

— Родители — зубные врачи, — выдавала подруга на-гора. — Три дома в Марбурге, но есть одно «но»... — подружка запнулась.

— Что? — напряглась Ника.

— Очень религиозные евреи. А чего ты хочешь? Ты где с ним познакомилась? Вот и смекай...

— Ну, это ничего! — облегченно облизнулась Ника. Даже лучше. Чем труднее казалась задача, тем больше это её подстёгивало. Вероника задействовала все ресурсы. Она знала по опыту, что аплодисменты надо ещё заслужить. Успех не приходит сам по себе. Перед ней замаячила новая цель.

Через месяц она позвонила ему и пригласила к себе. Сыграла на пианино свою любимую фантазию ре минор Моцарта. Старинный «Блютнер» рассыпался ломаными арпеджио, октавные переливы анданте и адажио перемежались престо свободных пассажей шестнадцатых и песенным аллегретто, завершаясь кадансом в радостном ре мажоре. Что ж, всё как и у людей. Ника отняла пальцы от клавиш, медленно отпуская педаль и прислушиваясь к затихающей музыке. Она сидела на краешке стула с ровной спиной. Как Чарита. Украдкой взглянув на Бориса, усмехнулась внутри. Всё. Готов. Погиб. Сгорел. При свете зажжённых в канделябрах старинного «Блютнера» для пущей романтики свечей она видела в его глазах восторженность и даже нечто большее... Не зря же она столько лет занималась с лучшей учительницей на свете. Позже сыграла и на нём. Это уже была не фантазия. А страстное фанданго, фарука, танго. В общем — ламбада! Если бы Нику спросили, она бы затруднилась дать этому определение, да и зачем? Главное — уметь играть, импровизировать. Вот игра на музыкальном инструменте, например на фортепиано, — это, пожалуй, подошло бы. Любовь проистекает в мужчинах из качественного их обслуживания. Любовь зарождается как следствие этого обслуживания, была уверена Ника, и уже потом, в зависимости от выполненной на сто процентов работы, он придумает её, нарисует её профиль в воображении, вспомнит когда-либо слышанные им стихи о любви (может, даже и сам чего-нибудь сочинит), и зазвучит музыка в его влюблённой голове, если она у него к тому времени ещё останется. Мужчины — тоже люди, только подходят ко всему с другого конца.

Борис любил смотреть на неё спящую, разметающуюся на всю кровать. Он вытягивался на краешке, подперев голову рукой, любовался ею и улыбался. Когда она спала, с лица уходила настороженность и хищность, свойственные ей. Это было просто лицо спящей, не очень красивой, скорее девчонки, чем женщины, этакой Барбары Стрейзанд, перед магнетическим притяжением некрасивости которой блекла кукольная красота Лиз Тейлор, хотя, судя по всему, обе — стервы. Ему казалось, что ещё чуть-чуть — и он заслужит её доверие. Враждебность, недоверчивость дикого зверька, бывшая в ней, та натянутая как струна Ника исчезнет навсегда, он сумеет её приручить, и эта погружённая в сон, чему-то там улыбающаяся гордочка сейчас проснётся и — о чудо! — останется тихой и светлой, как в своём сне. Борис знал: она не любила его, но полюбит, не может не полюбить, а если нет — его любви хватит на двоих. Так он думал и был счастлив.

Она забеременела, сняли квартиру. Ника играла в «цыпочку»: готовила особенные блюда, ждала его вечером с работы, соблюдала субботы и ночами подбирала и пробо-

вала, находила нужные гармонии и созвучия на его теле, перебирала его, как клавиши на своём концертном «Блютнере», дизезы чередовала с бемолями, меняла тональности и длительность, добавляла голоса к своим полифониям.

Родился мальчик, Натан. Большеглазый, кучерявый бутуз. Запричитали, заохали бабушки и тётушки, ловившие каждое движение первенца. Если младенец срыгивал, тут же хором приговаривали: «Грэпцеле аройс, гезунт арайн! Отрыжечка наружу, здорowie внутрь!» Борис и представить себе не мог, что когда-нибудь с такой радостью будет прижимать к себе этот орущий комочек. И тогда он сдался.

Загудела большая еврейская свадьба. Когда раввин обвенчал их и под восторженные возгласы родни на её пальце засверкало желанное кольцо, Ника наконец впервые за долгое время глубоко и удовлетворённо вздохнула, с облегчением сунула фату новоиспечённому мужу, сбросила туфли на высоких каблуках — и пошла со всеми в пляс... Грянула «хава нагила»! Ошалевший от счастья молодожён, ныряя между рядами танцующих, неловко пытался один за другим вытащить из этого карнавала драгоценные туфли. Скрипач Лёва наяривал вовсю, и оркестрик, собранный из бывших лабухов, казалось, едва поспевал за ним. В волнах той пляски плыла разрозовевшаяся Ника, а бешеное кружение хоровода, сопровождаемое весёлым смехом гостей, раз за разом отбрасывало Бориса от желанной цели. В стороне подхлопывающие в такт веселья родственники то и дело выжидательно поглядывали на восседавшую посреди них бабушку Бориса. В наступившей после танца паузе та вдруг заявила:

— Вай ме! Наш-то влип... Нашёл дворняжку и уже туфли за ней таскает.

Она хлопнула досадливо в ладоши, сверкнув бриллиантами на перстнях. На лице её читалась сдержанная брезгливость. Не рискуя возражать бабушке, родственники растерянно закивали головами. Все знали, что она всегда «зрила в корень».

Сестра Вероники Лена, стоявшая рядом, горько усмехнулась. А дремавшая в углу тётушка Фира, божий одуванчик, которая тем не менее умудрялась всё слышать и во всём участвовать, подала скрипучий голос:

— Ты у нас, Софочка, настоящчый рентген-аппарат!